

Павел Владимирович Безобразов

**Сергей Соловьев. Его  
жизнь и научно-  
литературная деятельность**



Жизнь замечательных людей

Павел Безобразов

**Сергей Соловьев. Его жизнь и  
научно-литературная деятельность**

«Public Domain»

## **Безобразов П. В.**

Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность / П. В. Безобразов — «Public Domain», — (Жизнь замечательных людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

## Содержание

Павел Владимирович Безобразов	5
ГЛАВА I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	12

# **Павел Владимирович Безобразов Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность**

*Биографический очерк П. В. Безобразова*

*С портретом С. Соловьева, гравированным в Петербурге К. Адтом*



## ГЛАВА I

### *Детство. – Учение. – Студенческие годы*

5 мая 1820 года, в одиннадцать часов вечера, накануне Вознесения, в тесной, плохо меблированной квартире священника Московского коммерческого училища Михаила Васильевича Соловьева родился сын Сергей, недоношенный, а потому слабый, хворый, целую неделю не открывавший глаз и не кричавший.

Из первых лет жизни Сергей Михайлович впоследствии с особенной любовью вспоминал о своей няньке Марье и даже приписывал ей большое влияние на образование своего характера. Это была невысокая худощавая старушка с очень приятным выразительным лицом, с добродушно-насмешливой улыбкой, очень набожная и притом всегда веселая, несмотря на множество злоключений, постигших ее в жизни. Девочкой ее разлучили с матерью, продали какому-то купцу, жившему в Астраханской губернии, потом ее отпустили на волю, и она поступила в услужение в Москву. Нянька Марья успела побывать три раза в Соловецком монастыре и столько же раз в Киеве.

“Рассказы об этих путешествиях, – говорил Сергей Михайлович, – составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности! Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица”.

Рассказы старушки, умевшей и в далеко не забавных приключениях находить забавную сторону, всегда отличались добродушным юмором и смешили ребенка. Занимали его сообщения о дальних странах, о Волге, рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве.

Своей няне Соловьев приписывал и религиозно-нравственное влияние. Начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, мальчик в сильном волнении спрашивает ее: “И ты не испугалась, Марьюшка?” Ответ был всегда один: “А Бог-то, батюшка?” Впоследствии в трудных обстоятельствах жизни Сергей Михайлович нередко вспоминал слова няни: “А Бог-то?”

Сестер Сергея Михайловича, которые были значительно старше его по возрасту, отдали в пансион, и мальчик рос один. Одиночество способствовало, конечно, раннему развитию и любви к чтению. Научившись грамоте, он с жадностью набросился на книги и в них нашел единственное развлечение. Читал он все без разбору и прежде всего романы, попадавшие ему под руку: Радклиф, Нарезного, Загоскина, Вальтера Скотта, – такое чтение возбуждало преждевременно и без того пылкую фантазию мальчика и приносило ему гораздо больше вреда, чем пользы. Однако его склонность к истории сказала уже в раннем детстве. Среди отцовских книг попала ему “Всеобщая история” Басалаева и увлекла его; он перечитывал ее много раз и особенно прельщался римской историей, с которой ему вскоре после этого удалось познакомиться подробнее в сочинении аббата Милота. В то же время Серёжа увлекся Карамзиным и до тринадцати лет перечел его не меньше двенадцати раз. С особенной любовью останавливался он на тех страницах, где повествовались славные для России события, и поэтому отдавал предпочтение шестому тому (княжение Иоанна III) и восьмому (первая половина царствования Грозного). Мальчик увлекался настолько, что начинал бурно фантазировать в области истории. Он всем сердцем ненавидел Стефана Батория за его победы над русскими и по целым дням мечтал: “А что если бы сам царь Иван принял начальство над войском и разбил

Батория, отнял у него Полоцк и Ливонию»; живо представлялось ему, с каким торжеством царь въезжает в Москву и везет пленного Батория. Не меньше исторических книг маленький мечтатель увлекался путешествиями, читая «Историю о странствиях» и «Всемирного путешественника».

По обычаю духовенства, Михаил Васильевич Соловьев записал своего восьмилетнего сына Сергея в духовное училище, с правом учиться дома и являться только на экзамены. Он сам учил мальчика Закону Божию и древним языкам, а для обучения другим предметам посылал его в коммерческое училище, где в те времена преподавание не отличалось большим блеском. Отец не имел времени аккуратно заниматься с сыном, а потому по большей части ограничивался тем, что приказывал выучить наизусть такие-то склонения и спряжения из латинской грамматики, и только раз или два в несколько недель успевал проверить познания своего сына. Понятно, что мальчику, обладавшему пылкой фантазией, было очень тяжело механически, почти без всякого руководства заучивать латинские вокабулы, в то время как он постоянно жил в области мечты, вместе с Муцием Сцеволой клал руки на уголья или с Колумбом открывал Америку. Мальчик каждый день держал перед собой латинскую грамматику по несколько часов, но обыкновенно вкладывал в нее другую книгу, какой-нибудь роман, и результатом было то, что, когда отец начинал спрашивать его, он отвечал плохо и совершенно неудовлетворительно сдавал экзамены в духовном училище. Поездки в Петровский монастырь, где помещалось духовное училище, Сергей Михайлович причислял к самым бедственным событиям в своей отроческой жизни: неопрятный вид учеников, грязные и грубые до зверства учителя возбуждали сильное отвращение в мальчике, привыкшем к домашней жизни. Один из учеников сделал однажды какую-то довольно невинную шалость, к нему подскочил преподаватель, вырвал у него целый клочок волос и торжественно положил их на стол. Такие сцены, естественно, вселяли в мальчика страх к духовному образованию, потому что он был немало наслышан о грубости семинарских нравов и вообще не чувствовал ни малейшей склонности к духовному званию. Под влиянием матери, принадлежавшей к светскому сословию, а также из-за неудовлетворительно сданных экзаменов М. В. Соловьев после некоторого колебания решил выписать сына Сергея из духовного звания.

Тринадцати лет поступил он в третий класс Первой московской гимназии. Директором был Окулов, добрый и милый человек, очень любезный, славившийся в обществе своим искусством рассказывать анекдоты, и в то же время известный своим мотовством; он держал много пансионеров и не занимался делами, предоставляя их инспектору Белякову. Это был человек неглупый, распорядительный, но желчный и грубый, часто кричавший на учеников и бранившийся... Порядок в младших классах, где было до ста учеников, оставлял желать много лучшего: на передней лавке ученики еще кое-что слушали, на средних разговаривали, на задних спали или играли в карты. Дисциплина установилась только с назначением попечителем Московского округа графа Строганова вместо князя Голицына, когда инспектором стал вместо Белякова учитель математики Погорельский — человек ловкий, деятельный, самолюбивый, желавший угодить попечителю и потому следивший за порядком. Он сменил учителей, не хотевших ничего знать, кроме учебника, или просто «без царя в голове».

Соловьев учился хорошо по всем предметам, кроме математики, к которой чувствовал природную антипатию, усиливавшуюся еще оттого, что в третьем классе был учителем некто Волков, большой педант и человек довольно грубый. Он, например, обращался к мальчику с такими словами: «Дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца: отец твой — хороший человек, а ты — дурак!»

Однако летом Соловьев наверстал упущенное, отец взял ему учителя, и осенью он блистательно выдержал экзамен, так что перешел в четвертый класс первым учеником по всем предметам. Первым, кто подметил выдающиеся способности Соловьева, был Попов, преподававший русский язык и словесность, начиная с четвертого класса. Он умел возбудить в уче-

никах охоту к занятиям, прекрасно разбирал классические произведения литературы и ученические сочинения и на этих разборах не только выучивал правильно писать, но и выявлял таланты, у кого они были. На уроках логики и риторики Соловьев, заинтересованный предметом, не мог удержаться, чтобы не высказывать вслух своих мыслей. Попов не сердился на такое “неприличное” поведение, и беседа выходила очень живой и поучительной. Сочинения Соловьева своими достоинствами выделялись среди прочих ученических работ, хотя он часто уклонялся в сторону, не исполняя заданной темы, – вместо описания памятника Минину и Пожарскому предавался историческим воспоминаниям и пренебрегал риторическими формами, считавшимися тогда обязательными. Попов журил ученика за отступления от риторики, но тем не менее во время одной товарищеской беседы с учителем Красильниковым увлекся до того, что сказал ему: “Ведь Соловьев просто гений!” Красильников возразил на это: “Полно, полно, Павел Михайлович! Как это может быть; положим, что Соловьев – мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтобы у нас в гимназии завелся гений?” Хотя не все относились к Соловьеву с таким восторгом, как Попов, но все учителя признавали в нем большие способности и любили его за отличное учение и примерное поведение. Сергей Михайлович всегда с удовольствием вспоминал о времени, проведенном в гимназии; легко, весело ему было с узлом книг отправляться в школу, зная, что там встретит его ласковый прием; приятно было ему чувствовать, что он значит что-то; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту, остававшемуся всегда за ним.

В 1838 году, восемнадцати лет, Соловьев был выпущен из гимназии первым учеником с обязанностью написать для акта рассуждение на тему “О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного”, за которое получил серебряную медаль.

На лето Соловьев поселился в качестве учителя в деревне князя Михаила Николаевича Голицына, сына разорившегося аристократа, малообразованного и развратного помещика. Воспитанием детей занималась княгиня, отличавшаяся нетерпимым характером, – женщина ограниченная, капризная, сварливая. Молодому Соловьеву поручили обучение четырех детей и между прочими Дмитрия, мальчика до безобразия толстого, вялого физически и умственно, в тринадцать лет с трудом читавшего по-русски. В доме Голицыных не говорили иначе как по-французски, с презрением относились ко всему русскому, Соловьева называли *M<sup>r</sup>. le Russe*, и юноша вынужден был доказывать, что он гордится этим прозвищем, что имя русского драгоценно для него, что ему лестно быть единственным русским в целом доме. Аристократическая семья произвела тяжкое впечатление на юношу, воспитанного в совсем другой среде, и осенью он отказался жить в доме Голицыных; но это лето оставило некоторый след в его жизни, – одна крайность вызывает другую, и Соловьев на время ударился в славянофильство или, лучше сказать, русофильство.

Осенью Соловьев поступил в университет на первое отделение философского факультета (теперешний историко-филологический). Ректором был в то время М. Т. Каченовский, известный историк-скептик, человек очень честный и всеми уважаемый. Читал он уже не русскую историю, как прежде, а славянские наречия, и на этом поприще как по старости лет (ему было 64 года), так и по недостаточному знакомству с предметом не мог оказать большой пользы студентам. Деканом факультета состоял И. И. Давыдов, ученый карьерист, смотревший на науку как на средство выслужиться, получать чины и ордена. Получив Станислава первой степени, он откровенно объявил, что высшие ордена производят удивительное впечатление: он чувствует себя нравственно лучше, выше с тех пор, как награжден звездой. Академик Никитенко говорит о Давыдове в своем дневнике: “Вот человек, который из своего ума, таланта и обширных сведений сделал себе орудие мелкого своекорыстия. Стоило для этого столько трудиться, чтобы в заключение осквернить дары, предназначенные для лучшего употребления! Но такова безнравственность эпохи. Ум и дарование не возвышаются до веры в практическое добро. Как



доказательство своей силы они представляют одни итоги нахватавшихся ими чинов, орденов и денег. Они не веруют ни в какое другое право на уважение общества. Это они называют искусством жить и презируют тех, которым недостает охоты или умения идти их путем и употреблять свой ум и силы на ловлю житейских благ. Но не вправе ли они и в самом деле считать себя правыми?» Давыдов был несомненно прав, потому что сумел сделать блестящую карьеру и, покинув университет, попал не только в ординарные академики, но и в председательствующие русским отделением Академии наук. О его приезде в Петербург в 1842 году, когда Соловьев кончал университетский курс, в дневнике академика Никитенко имеется следующее любопытное известие: «Профессор Давыдов в большой милости у Уварова (министра народного просвещения). Он добился этого грубой лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребенка, чему нельзя не удивляться, ибо у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае сметливого. Давыдов особенно завоевал его сердце статьей “О Поречье”, деревне Уварова, – статьей до того льстивой, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве. Уваров теперь принял здесь Давыдова с распростертыми объятиями. Недавно он заставил его прочитать по одной лекции в Екатерининском институте и Смольном монастыре, объявив предварительно девицам, что они услышат “русского Вильмена”. Давыдов явился и не произвел ожидаемого эффекта. Особенно не по вкусу пришелся он в Смольном монастыре. Делая там обзор русской литературы, он отказал в поэтическом даре Державину и вовсе не упомянул о Пушкине, разумеется, из желания угодить Уварову, который никак не может забыть “Лукулла”. В заключение Давыдов сказал, что всему в России дает жизнь и направление министерство народного просвещения. И все это в присутствии Уварова, который не покраснел и тогда даже, когда Давыдов торжественно объявил, что если он (Давыдов) сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он (Давыдов) только “Мемнонова статуя, возбуждаемая лучезарным солнцем”.

Пресмыкаясь перед сильным, он требовал, чтобы и перед ним пресмыкались ниже его поставленные; людей дрянных, раболепствовавших он возвышал, и напротив, гнал людей порядочных, державших себя самостоятельно. Как декан он покровительствовал сыновьям знатных и сильных, от которых в свою очередь ждал покровительства, и делал это в ущерб бедным студентам.

Давыдов читал студентам историю русской словесности, но не сообщал им ничего нового; курс его был хорошо известен из напечатанных им “Чтений о словесности”. Но так как ему не хотелось повторять самого себя, то он читал вместо двух часов всего час и целый год, что называется, переливал из пустого в порожнее, поэтому студенты называли его курс “Нечто о ничем, или Теория красноречия”. Другим профессором русской словесности был Шевырев, пользовавшийся известностью в свое время, но также не понравившийся Соловьеву, потому что он на своих лекциях увлекался фразерством и риторикой. Шевырев при каждом удобном и неудобном случае говорил в самых напыщенных выражениях о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира и прославлял Россию до такой степени, что лекции его среди студентов были прозваны казенными.

Древним языкам обучали: Оболенский – человек знающий, но бездарный и полусумасшедший, над странными речами которого студенты постоянно смеялись; еще более бездарный Меншиков и немец Гофман, ведший обучение совершенно по-гимназически, занимавшийся исключительно грамматикой, при чтении авторов обращавший внимание не на содержание, а на форму.

В сороковых годах на философском факультете не преподавалась философия, и потому студенты ожидали общих идей и их развития преимущественно от профессоров словесности и истории. Но литература была плохо представлена, и больше всего извлек Соловьев из исторических лекций. На первом курсе читал древнюю историю профессор Крюков, хотя и не самостоятельный, но даровитый ученый, хорошо знавший западную литературу и увлекавшийся

Гегелем. Его блестящее и вместе с тем серьезное изложение увлекало слушателей, давало им не только много новых сведений, но и множество новых идей. Среднюю и новую историю читал Грановский, тогда только что начинавший приобретать известность. Лекции его производили на Соловьева такое же обаятельное действие, как и вообще на всех студентов, хотя чисто внешне Грановский читал нехорошо, говорил тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова. Но внешние недостатки исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутренней теплотой и силой, дававшей жизнь историческим лицам и событиям. Соловьев сравнивал изложение Грановского с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры как живые действуют перед вами.

“Грановский, – говорит он, – принадлежал к числу тех немногих людей, которых, встретясь с ними раз, нельзя забыть, сошедшись с которыми, тяжело расстаться. Природа одарила его наружностью, какой долго ищут художники: лицо его представляло редкое соединение очертаний мужественной красоты с выражением глубокомыслия и вместе благодушия, сочувствия, которое влекло к нему с неотразимой силой. Теплое и разумное слово его ласкало человека, к которому обращалось, было всегда желанным, дорогим подарком. Грановский был щедр на эти подарки как самый общительный, сочувствующий человек, но с этой щедростью соединялась большая разборчивость. Он принадлежал к числу людей, мнение которых очень дорого ценится, и был судьей строгим при определении нравственного благородства. Такие люди, как Грановский, заставляют многих внутренне охорашиваться; и друзья, и не друзья, прежде чем делать, прежде чем сказать что-нибудь, задавали себе вопрос: “Что скажет об этом Грановский?” Понятно, что с такими нравственными средствами, какими обладал Грановский, влияние его на слушателя было могущественно. Грановский начал свою профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исторической науке, – стремлением уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремления, и здесь, как во всяком деле, во всяком стремлении человеческом, можно было дойти до вредной односторонности, которая и действительно обозначилась в исторических сочинениях, важных по своему достоинству и влиянию: имея в виду общие законы развития человечества, рассматривая исторических деятелей, целые поколения и народы только как орудия для достижения известных целей, приобретали жесткость взгляда, теряли сочувствие к поколениям и народам, к их радостям и торжествам, их страданиям и падениям; мало того, приобретали равнодушие, неразборчивость при оценке средств, которыми достигались известные исторические цели, целями оправдывались средства, не могущие быть оправданы на суде нравственном: что нужды, если употреблялись средства не нравственные, лишь бы употреблены были они во имя благодетельных для человечества идей. “Идеи не суть индейские божества, которых возят в торжественных процессиях и которые давят поклонников своих, суеверно бросающихся под их колесницы” – вот слова, раздавшиеся в аудиториях нашего университета с появлением в них Грановского. Грановский всеми силами своей любящей, сочувствующей души, всеми могущественными средствами своего живого, теплого таланта стал противодействовать вредной крайности господствующего направления, и в этом состоит его великая ученая и нравственная заслуга. Народы и поколения, в преподавании Грановского, являлись не мертвыми цифрами для решения известных исторических задач: они оживали перед слушателями, которые таким образом вводились в общество своих собратий, жили с ними одной жизнью, сочувствовали им, привыкали видеть в историческом человеке существо живое, чувствующее, и потому привыкали осторожнее обходиться с ними в своих чувствах, в своих суждениях. Грановский своим живым, теплым отношением к слушателям всего лучше напоминал учителя древнего мира: преподавание его не ограничивалось лекционными часами, студенты и окончившие университетский курс находили в нем всегда горячую готовность делиться с ними своими громадными сведениями, указывать средства к занятиям и доставлять эти средства из своей превосходно

составленной библиотеки. Но что всего важнее было при этих беседах – это живительное впечатление, производимое на молодых людей, вступающих в жизнь, человеком, полным жизни, полным горячего сочувствия ко всем ее вопросам, – человеком, готовым всегда служить своим собратиям и словом, и делом. Отсюда понятна сильная привязанность к нему учеников и всех людей, близко его знавших”.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.